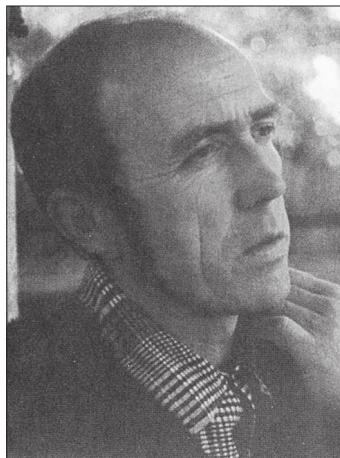


П Р О З А

Владимир ГРЕЧУХИН



Родился в 1941 г. в с. Юрьевское Мышкинского района. После окончания Ярославского педагогического института им. К. Д. Ушинского работал в редакции районной газеты «Волжские зори». Издав несколько очерковых краеведческих книг, в том числе в московском издательстве «Искусство», был принят в Союз писателей СССР. Продолжает в своём творчестве благородные традиции русского отечествоведения. Создатель знаменитых сегодня на всю страну мышкинских музеев. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России. Живёт в Мышкине.

«...Вроде как пихта упадёт»

Рассказ

...**П**рожитое время имеет способность напоминать о себе и оживать яркими картинками неожиданных воспоминаний. И чем больше мой возраст, тем чаще расцветают в памяти дни моей молодости, моих жизненных начал, моей далёкой армейской поры. Воскресают события и случаи солдатского трёхлетия, воскресают встречи, случившиеся в селениях и на дорогах Вятских Увалов.

Эта возвышенность пролегла вдоль немалой части русского Севера, и моя служба в её тихих просторах тоже оказалась немалой (значимой!) частью всей уже долгой моей жизни. Об одной из таких встреч тех далёких дней я и хочу рассказать.

Председатель сельсовета оставил нас возле дома с зелёной вывеской «Медпункт», а сам, хватаясь за тын, стал спускаться вниз по красноглинной дороге, размякшей от дождя. Ошмётки глины, налипавшие

на подошвы и обраставшие кругом них тяжёлой бахромой, сильно затрудняли его движение, а потому фигура в синем поношенном кителе и в таких же галифе долго моталась рядом с тыном, уходя вниз всё дальше и дальше. Целью этого путешествия было устройство нас на жительство.

Заранее оговорено не было, и теперь председатель отправился «подготавливать почву», а мы свалили к крыльцу медпункта свои вещмешки и устроились кто как мог. Молчали. Я загляделся на далеко уходящий лесистый лог, и сердце успокоенно смягчалось от парящих после дождя, словно умытых, полей и стройного, словно нарисованного, леса за ними. Тонко зеленели берёзки и чинными строгими красавицами, распустив до травы ветви сарафанами, стояли ели и пихты. Пихты манили взгляд.

Пихта ладней и выше всех своих лесных сестёр, и пихтовый лес, должно быть, лучшая краса здешних мест. Пихтачи бесконечной ратью уходят по сырым логам, поднимаются на малые всхолмления, наступают на подошву больших угоров. За ровными вершинками ближних к деревне пихт видишь другие, без числа, а дальше всё сплошь заволакивается синим, и соловей из этого лесного рая подаёт своё дневное, пока еще несмелое «чок-чок» и выдаёт вслед за ним негромкий, но славный посвист. Хорошо молчалось и слушалось.

Фигурка в широких галифе замахала руками от крыльца осевшего широкого и грузного дома, и мы, разобрав пожитки, направились вниз тем же путем, что проделал председатель. Потом долго скребли сапоги, избавляясь от глины, и наконец, предварительно стукнувшись в сених об низкую притолоку, а потом о такие же низкие полаты, ввалились в дом, и в нём сразу же стало тесно. Сапоги топчутся по полу, мешки толкаются обо все, что есть в доме, голову гнёшь...

Ну, разобрались, расселись по лавкам. Я, разувшись, занял место в углу на табуретке, заскрипевшей от грубого обращения, глянул: где же хозяин? На лавке, словно сломавшись на три части, сидел огромный костлявый дед. В синей рубахе и льняных штанах из какой-то вечной материи. На круглой голове какая-то варнацкая кепочка с переломанным козырьком. Дед был брит, но седая щетина проглядывала по щекам. Председатель суетливо толковал об удобствах ночлега, о завтрашней работе, о том-сём. Мне показалось странным: какого чёрта, ни он нам о хозяине, ни ему о нас. Да и дед чего-то молчит.

Я уже несколько раз взглядывал на старика и замечал на себе его взгляд, в котором было что-то особое, такое, что не скоро и скажешь. Разработанной, тяжёлой ручищей дед упирался в лавку, а другая, этакая слега, лежала, тяжело свешиваясь, на спинке кровати. Я весело спросил:

— Ну, дедушка, пускаешь солдат на квартиру?

Под белыми кустистыми бровями поднялся взгляд. Надтреснутый, но твёрдо рыкучий голос ответил:

— Не хозяин. — И, переждав малость: — Живи.

Председатель что-то говорил спешливо и, по-здешнему подымая с растягом окончание слов, прибавлял «те» и «то». (Здесь, за Вяткой, другой раз и ругаются с «те» и «то»). Я уже не слушал его, а обстоятельно и разборчиво толковал старику, кто мы такие и зачем тут. Круглое лицо старика с прямым широким ртом было спокойно, а линиями губ и морщинами твёрдо. Не говоря ни слова, он слушал меня. Один глаз взглядывал на меня прямо, а другой прятался под нависшей бровью, и это делало взгляд жутковато-дерзким,

Вечером, когда пришла из другой деревни бабка, хозяйка дома, мы сели ужинать. Мой приятель Иван стукнул об стол донцем.

— Э-эх, утеха! — потёр руки.

Я полез на печь, тронул старика за плечо:

— Дедушка, садись с нами, повечеряем!

Надтреснутый голос заклокотал изнутри:

— Нет. Не пойду. Спасибо.

Я не отставал: не из вежливости прошу, а от души, и дед зашевелился. Шагнув к столу, он как-то странно взялся по пути за шкаф. Сел. Ну и как положено: первая за тех, кто служит, вторая — за дембель. Третья — каждый за своё.

Если винца больше, то скажут и за тех, кто в наряде, и за тех, кто дома, и хоть за бутылочные пробки. Но много бывает редко, солдат — человек со скудным достатком. Три восемьдесят — постоянная ставка.

Дождь мелко засеялся об стёкла, бабка подала яичницу и подгорюнилась в углу, гитара тихо тренькала; не спеша тыкались вилки в сковороду, и посвечивал в пальцах стакан, еще не пустой. Смягчились.

Тут и прогудел надтреснутый голос деда:

— Мне не повезло. Двадцати пяти лет разбил паралич. С тех пор карую. Спасибо, солдаты.

Только тут я увидел, что и стакан дед берёт с опаской, руки вздрагивают, да и к столу-то ведь шёл, руками помогая. Видно, и варнацкий излом бровей от того же.

За столом сидели молодые здоровые парни, двадцати пяти ни одному ещё не было, а между ними сидел человек, с двадцати пяти искалеченный и обречённый. Пьяные голоса сочувственно загудели, нетвёрдая рука долила ему в стакан, головы подвинули ближе.

— А семья-то была, дедушка?

— Нет. Женат не был. А в солдатах был.

— Да что вы его всё дедушкой-то? — вступилась хозяйка. — Какой же он дедушка, у него и семьи-то не было!

Но старик довольно загудел:

— Пусть. Хорошо это. Пусть.

...Ночь пришла тихая, с дождём и прохладой. Мы вповалку улеглись на полу на шинели и плащпалатки. В моей пьяной голове толклось всякое, меня уже уносило куда-то, и вдруг отчётливо распрямилась мысль: «С двадцати пяти? Да какая же это жизнь? Не стал бы! А он?..» Дождь сильно зашуршал по стёклам. Я заснул.

Проснулись с солнышком. Бабка готовила завтрак, за окошком орал скворец, старая толстая кошка разлеглась на моём мешке, а дикий котёнок подглядывал из-под лавки, не решаясь выйти на середину пола.

Мы сели завтракать, и кто-то вспомнил:

— А где же дед?

— А кто его знает! Встаёт до солнышка и куда-то уходит. Да так весь день и не кажется. Где он уж бывает, ребёнки, не знаю!

Бабка старая и ребёнками нас называла. Здесь это слово заменяло вполне и ребят, и хлопцев, а другой раз и парней.

— От дедан! — крикнул Иван, расставляя миски.

— Да уж, такой старик! — поддержала хозяйка, топая по кухне.

Заскребли ложками, и разговор сам собой угас.

... За деревней на взгорке земля растревожена колёсами и гусеницами, там белеют и желтеют новыми стенами кладовые, гараж, мастерская, и темнеет уже задымлённая кузница. Мы взялись строить ещё одно здание мастерской возле лесочка, над оврагами с холодными родниками.

Работа добрая. «Мускулы качаем», — немудрёно шутили, возвращаясь с работы, чуть охмелевшие от усталости, с руками в смоле и растворе, расстёгнутые, простоволосые. После казарменной серости мир цвёл!

По ночам далёкие деревеньки мигали с увалов редкими огоньками, тёплая тишина стояла на улице. Комаров ещё не было, а соловьи пели. Парни бродили с деревенскими девушками и приходили домой уже слишком поздно или ещё сильно рано — не разберёшь. Но старик уходил из дому в такую рань, что, вставая, мы его уже не видели.

Как-то раз я получал молоко на солдат у колхозной сепараторной, но приёмщик запоздал, я праздно сидел на брёвнышке и бездумно глядел в улицу и поля. Дед появился из-под горы, от сараев, шёл он с двумя палками, на одну опирался, другую волок за собой для особо ненадёжных мест. Своей подламывающейся походкой он доковылял до ровного места и остановился. Здесь он оперся на две палки и, наклонив голову, уставился в утренние дали.

Перед солнцем и зеленью, костлявый, длинный, в своих льняных штанах и рубаше, он был словно с картины Рокуэлла Кента. У меня шевельнулась мысль: «Что он думает? Любуется или увидел чего?» Я окликнул. На голос он повернул голову и с обычной твёрдой замедленностью выговорил:

— Да вот... Молодое всё.

Приёмщик вынес ему большую кружку молока. Старик достойно принял её, опустился на бревно, уложил свои палки и прогудел, как огромный, несердитый шмель:

— Да... Молоко... Солнышко... Хорошо всё.

Деревенские звали старика Павел Длинный. Когда он уходил вниз по улице от сепараторной, выглядел странно и величественно. Словоохотливая старуха, сдав молоко, толковала ему вслед:

— Да и как же назвать, ить он какой уродился! Вроде в солдатах на него и сапогов-то бы и не найти!

— Да, живёт старичище чем-то, смерть не берёт, — хмыкнул приёмщик.

— Чего же ему умирать?

— А жить на что? — спросил приёмщик. — Пенсия-то ему, знаешь, какая? Ты на махре больше искуришь, пять рублей ему пенсия, и весь его достаток.

Верить не хотелось. Я знал, что старик лет тридцать в колхозе был сторожем и как мог работал, слышал, что получает пенсию. Но пять рублей! Я получаю четыре, так ведь меня кормят и одевают. А я, как зануда, тыкаю каждому, что, мол, четыре рубля получаю, а не четыреста.

Словоохотливая старуха с готовным удовольствием рассказывала:

— Да ить говорю я ему: «Павел, поди о смерти молишь?» Жить хочу, говорит.

Приёмщик хмыкнул:

— И ведь в самом деле, чем жив? Ест-то почти один хлеб, да и то, бывает, раз в сутки. А живёт... Ну, дашь ему что-нибудь, и другой кто даёт — так ведь этим не проживёшь.

Приёмщик прищурился против солнышка на уходящего Павла:

— Да и степенность он имеет. Чувствую, в другой раз нарочно не подходит, вроде побирушкой казаться не хочет.

— Так ведь можно оформить в дом престарелых, — я упорно пытался найти для старика спокойное и хорошее решение.

— Был, — коротко сказал приёмщик. — Был он там.

— Ну и что же?

— Ушёл. Тоска, говорит, в землю тянет. Умру там...

— Там и воробышки, говорит, не такие, — вступилась в разговор бабка. — Как он их назвал, Фёдор? Как-то, бог дай памяти...

— Казённые, — усмехнулся Фёдор. — Какие-то, говорит, одинаковые, как с фабрики.

— Я ему говорю, — зачастила бабка, — чего ты, Павел, по полям шатаешься, береги силушку-то, не мотайся!

— Ну, а он что? — с усмешливым превосходством искосился на бабку приёмщик.

— Да какое-то не дело, батюшко, он мне нагородил. Что хорошо ему там, что в поле али в лесу всю жизнь прожить можно и обижаться не на кого. Что хорошо ему там, всё говорил.

— Ну и хорошо тогда, коли хорошо, — словно сам себе сказал приёмщик.

Действительно, хорошо, когда хорошо. Хорошо было и нам в те месяцы. Работали в охотку, работали со сладостной любовью, силушки не жалели, отдавали охотно и в радость. Лето окрепло, принесло зной. Над нами висело бездонное накалённое небо, даль застилала сухая серая дымка, ветер куда-то пропал. Бездождье было. Пауты замучили нас днём, а комары ночью, только это чепуха — жизнь была чудесна.

Жили на вольной воле, по-мужски отмечали каждую субботу: фундамент залили — отметили, стены подняли — отметили, закрыли крышу — замочить надо. Ничего худого в этом не было, винца у нас водилось немного, и солдат может позволить себе это, оказавшись временно на гражданке. Жизнь кругом текла добрая, мирная, хорошая. Июль... Бездождье... Солнце... Гражданка...

Дед интересовался стройкой, иногда доходил до неё, а чаще спрашивал, как там дела. Его интерес к жизни колхоза удивлял бабку. А ещё дивило его чтение. Когда ноги уставали и ходить было трудно, старик читал. Проглатывал все газеты и даже учебники. Раз, вернувшись домой, я увидел, что дед читает толстенную «Электротехнику», привезённую нами. «Чего-нибудь понимает или просто буквы складывает?» — подумалось.

И в это время старик загудел:

— Дак это как, Володя, электричество, скажем, к нам с Юрьи по проводам идёт?

— Верно, по проводам.

— А там с города?

— Да, там с города, с подстанции.

— А там как, из воздуха, что ли, ловят?

Я объясняю, как это делается, дед спрашивает, я стараюсь говорить проще. Дед что-то понял и посмотрел снова в книгу.

— А радио откудава берут?

Я рассказываю про радио. Электротехнику он читал неделю, потом отложил, сказал:

— Всё-таки трудно это, надо с малых лет учиться.

Сам дед учился совсем мало, но у ребят с первого по шестой был авторитетом в вопросах решения задачек. Тракторист Пашка, лёжа на пакете стрелёванного тёса, дымит какой-то дрянной сигареткой, а между затылками частит своей скороговоркой:

— Э, дед-то, мужик умный!.. Да!.. Любую задачку мне решал!.. Во!.. И, знаешь, серьёзный мужик! Во! Кремешок!

Редко, видать, жаловался дед на своё житьё. Глаза всегда глядели открыто и просто, голос гудел ровно и спокойно, по деревне дед шагал даже величественно. Особенно когда задумывался, он был просто замечателен: прямой, как шест, шагал, склонив голову на грудь, как-то чудно, по-джентльменски, выкидывая палку и правую ногу.

Весь июль и август ходил босиком, в чёрной косоворотке, с открытой головой. Когда шёл из поля, прямая, как жердь, фигура невозмутимо — апостольски виднелась в жёлтом поле. С высоты своего гренадёрского роста дед обозревал поля, отдыхал, опираясь на клюку, из-под белых волос и бровей выцветшая синева взгляда озаряла лицо, прокалённое солнцем.

Немногословность ему шла. Словесная суетливость была бы не только не уместна, а даже смешна и неприятна, но его с ней и представить было нельзя. Именно немногословность

словность, а вовсе не неразговорчивость. Рассказывая про свои походы в поле и лес, дед, чувствовалось, вновь любителю тем, что видел.

— На Солонице был... — гудел его голос, — замелела ноне... мелка... до дна видно... хорошо, братец ты мой... до дна каждую травинку... чистая... вся чистая!

Он охотно отвечал на мои вопросы, говорил, что сегодня глядел муравьёв. Так полдня и глядел? Так и глядел. Хорошо было. Живые. Маненькие, а, должно, умные. Труженики.

Говорил, что сидел на просеке и не заметил, как ушёл день. Грело хорошо солнышко, и птаха какая-то «так ли уж пела! Слушал бы век... хорошо...»

— Ты, Павел, где-нибудь в лесу и померёшь, не дай бог! — покачала головой бабка. — Нехорошо как-то!

— Чем же? — прогудел Павел. — Как раз хорошо — и солнышко, и птахи, и трава...

— И кто же об тебе, Павел, печалиться-то будет? — не унялась бабка. — Кто же тебя, старого, оплачет?

— Почто? — не опечалился Павел. — Упаду, вроде как пихта, и все. А кто же о ней плачет? Прожила своё, забрала солнышка, света-радости и упала без печали! — светло и отрадно проговорил непривычно длинную фразу Павел, чертя палкой на тропинке.

— Господи-господи, чего говорит, греховник, господи-господи, — затих в кухне бабкин голос, сменившись звоном посуды и плеском воды.

— «Упаду, вроде как пихта...» Меня поразило его сравнение. О своей смерти ещё и не думалось, она ещё неизмеримо далека. Может, и нет её вовсе? А как просто и не надорванно говорил о своём близком конце старый, очень старый человек — меня поразило, и мысли мои наполнило светом и печальной красотой. Я понял, что Павел и впрямь несокрушён мыслью о смерти, он примет её так же естественно и просто, как принимают её муравьи, трава, пихта.

Он ею не удручён и не прижат, он не смутится ею в любую минуту, разве что успеет малость удивиться, как она вдруг приспешила, как пришла-таки за ним, отыскав в зелёных перелесках, под пение птах и звон кузнечиков.

Я чувствовал, что мысли мои об этом обретают всё большую сложность и запутываются, но образ этот — «вроде как пихта, упаду» — каждый раз выпрямлял и высвечивал. И мне бы так! Но уже понимал, что так не будет. Что книжный, современный, сложно и путанно мыслящий, я не смогу ни в жизни, ни в смертный час быть частью жизни, временной и вечной, как муравьи, пихта, трава. И удивление и восхищение перед древней и прекрасной философией Павла уже не оставляли меня все остальные дни нашего знакомства.

Знакомство здешнее разрослось. Мы знали всех в деревне, и все знали нас. И даже за нашим столом стало людней. Так и в тот вечер. Кроме нас, бабки и деда здесь были ещё два Василия — кузнец и плотник, — с кем сошлись по работе и душой. Все были за столом: ещё бы, сегодня закончили мастерскую, можно малость и поприбавить.

Теснота, гомон и хорошая семейственность были в доме. Пили, закусывали. Павел во всём принимал участие. Плотник Василий, наслушавшись наших солдатских рассказов, с чувством голосил:

— Эх, армия-матушка, э-эх, доля солдатская!

А потом он вдруг обратился к деду:

— Павел, а Павел! Ты чего молчишь? Расскажи нам про старую войну!

Дед не ответил, и Василий дважды повторил просьбу. Павел качнул головой:

— Не буду.

— Что же, Павел? Чего молодечество скрывать?

— Не буду, — твёрдо стоял на своём инвалид.

— Дедушка! — с пьяным дружелюбием подался к нему Колюха Тарасов. — Чего не говоришь?

— Не надо, — прогудел старик, — человеки на войне — как муравьи на лесном пожаре. Разве не жалко? Чего вспоминать? — крест широких плеч дрогнул и наклонился.

Парни подбадривающе зашумели, я подсунул Павлу его стакан, стукнул об него своим. Выпили.

— Да ведь Павел каким был! — донёсся до меня голос Василия. — Да ведь разве думаешь? Знаешь огород-то по угору? От самого верха до низу. Знаешь? Так он тогда его весь выдернул. Весь до кола! И на дорогу бросил. И не оглянулся! Э-э!

— Когда это «тогда»? — спросил Коля.

— Когда на войну шёл, — глухо сказал в тишине сам Павел.

Подвыпившие мужики всё говорили. Я вслушался. Они говорили про Павла. Далёкого, забытого, прежнего.

— Ведь на железной дороге, когда на заработки ходили, так он один рельс за концы укладывал. А лёгким рельсом игрался. А шпалы — кидал!

— Васильюшки, а что же про сарай-то забыли? — вмешалась бабка.

— Да! — жарко вздохнул плотник. — Не хочешь — не верь. Мы домкратами под угол ладимся, а Павлуха подошёл, да вагой его и поднял.

— «Мы»! — съязвила бабка. — Что ещё за «мы», ты-то еще мальцом был!

— Ну, был, был! А помню, а знаю про Павла, зна-а-аю!

Дед с усмешкой непроницаемо странной, как в первый день, слушал о себе, таком далёком, таком невероятно небольшом, что словно о ком-то другом. И только бровь, сломанная параличом, подёргивалась чаще-чаще.

А говорят — богатырей нет... Кто говорит?! Те, кто их не видел. Громадный человек, больной от годов и невзгод, изломанный, но невероятно живучий и сейчас ещё удивляющий заметной богатырской статью, жестоко расслабленный, как в своё время Илья Муромец, был рядом со мной. И судьба его была былинна и былинно жестока.

Зашумели. Задвигали тарелки. Бабка подала ещё что-то. Полетела пробка. Дед загудел:

— Не забуду. Не забуду, солдаты. И ваше вино и вас. До смерти не забуду.

— Э, чего там, вино, дедушка! Ишь, дело!

— Да я про всё, про всё. Я ведь на всю жизнь, на всю жизнь...

— Кушай, кушай, чего тут. Закусывай!

... Калёная полоса над лесом становилась всё уже и уже, темнело по краям, словно угли в костре подёргивались пеплом. Лица стали малоразборчивы, а свет включать не хотелось. Я наклонился к Василию:

— Дед на войне цел остался?

— Да как? Тяжёлая контузия... где-то, вроде под Перемышлем. А так цел, видишь, весь тут!

На другой день мы долго дымили папиросками, сидя на штабелях тёса, прежде чем приступить к работе. Василий неразборчиво хмыкал что-то. Я повернулся:

— Чего, отец, не скажешь никак?

— Да я про Павла. Вот из головы не идёт, как он про войну сказал, с пожаром сравнил.

— Ну?

— А знаешь, от чего он пострадал?

— Да, от паралича, а может, и контузия сказалась.

— Вот ничего и не знаешь, а в одном доме живёшь!

— Ну, а ты знаешь, так Расскажи...

Василий помялся, бестолково проговорил, как и всякий мужик, непривычный к этому делу, поплутал в словах, а потом заговорил совсем хорошо. Про то, что Павел на войне был молодцом. Аж имел два «Георгия». И силушка страшная, и решительность природная там ко двору пришлись. А вернулся после контузии уж совсем не тот. Смурый и, словно уголь, потухший. И о войне не хотел ни слова. Земляки, что вернулись, рассказывали. И про него тоже. А Павел вставал и уходил.

— Я так думаю: что-то ужасное и жалостное он там на войне увидел, — сказал Василий. — Ну, такое, Володимер, что потом каждый раз как шилом в сердце било!

Я подивился невольной образности Васильевых слов, а он продолжал про то, что был такой сосед у них, Гришуха, этакий занозистый мужик.

— Вишь ты, не оставлял он Павла в покое, и словом его всё подковыривал, всё хотел с ним силой померяться. Чего это ему? Не знаю... А Павел всё терпел и отказывался. После войны Павел стал смирный, как монах. Тот на него наседает: что боишься, мол, бороться? А Павел только что и скажет: видал, мол, я рукопашных-то, хватит с меня. И только бровь задёргается, как вчера это у него было.

Да вот раз и случилось у них в праздник. Как-то завёл его Григорий. Ну, сила на силу и нашла. Да уж тут глядим мы, не силой меряются, а уж тут кто кого. Бились они, Володимер, ну, до смерти, в кровь, вдребезги. Да как ударил его Павел-то, рука-то, сам ты знаешь, оглобля. Так тот пал врасстяжку, да так и не встал. Закричал народ-то: «Убил! Григория убил!»

Глянул на него Павел, страшно побледнел, за голову схватился, да и бросился в лес. Григорий-то отлежался, а Павла три дня не было. Потом пришёл, лег, да утром и не встал. Ни рукой, ни ногой. Лежал год, и даже слуху у него не было.

Но что силушка делает! Помалу слух вернулся, двигаться начал, а потом ходить, но совсем так и не поправился. Вот как дело-то было, — печально закончил Василий.

Эта странная деревенская драма увлекла и потрясла меня. Я снова закурил и спросил плотника, как отнёсся к своей беде Павел, сильно ли переживал. Василий оживился:

— А чудно, братец ты мой, он к ней отнёсся. Так, словно этого и ждал, словно так и должно быть!

— Как же это? Ты поясни!

— Да что тут пояснять-то... он говорил, что это судьба его покарала.

— За что?

— За удар жестокий, за драку немилосердную. Война, говорит, страшное убийство, нельзя больше, чтобы она была. А я, говорит, человека, как на войне, ударил. Нельзя, говорит, меня прощать. Вишь, ему и муравьёв жалко, а тут человека чуть не убил!

— А человек?

— А что ему? С месяц помаялся, а потом хоть бы что. До старости дожил, помер уже. А Павел все карует.

Да... Дорого платят за движения души, за проснувшуюся жалость ко всему живому на земле, неся тяжкий крест долгую-долгую жизнь, дивя людей и сами дивясь жизни в её даже самых малых проявлениях. Боже мой, какая краса им открывается, и какая долгая оказывается дорога до успокоения души, до этого «как пихта упаду».

Батюшки, в какой в большой стране мы родились, сколько здесь людей, какие удивительные судьбы и характеры можно встретить, и как отзовётся сердце на чужую боль и чужую мудрость, и как захочет эту боль разделить и облегчить, и не найдёт к этому путей, потому что их нету, и будет этим томиться и жалеть, и красотой чужой муки полниться. И может быть, все эти муки житейские просветят и высветят, и родится простое и мудрое понятие о не горьком и не обидном своём собственном конце, а простом и естественном, как тихое падение старой пихты в майском, кипящем зелёную и жизнь логу.